



Современное  
востоковедение



ЯН  
КЭМПБЕЛЛ

# ЗНАНИЕ И ОКРАИНЫ ИМПЕРИИ

КАЗАХСКИЕ  
ПОСРЕДНИКИ  
И РОССИЙСКОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ  
В СТЕПИ, 1731–1917

«Современная западная русистика» /  
«Contemporary Western Rusistika»

Ян Кэмпбелл

**Знание и окраины империи.  
Казахские посредники и  
российское управление  
в степи, 1731–1917**

«Библиороссика»

2017

УДК 94(574)  
ББК 63.3(5)5-69К98

### **Кэмпбелл Я.**

Знание и окраины империи. Казахские посредники и  
российское управление в степи, 1731–1917 / Я. Кэмпбелл —  
«Библиороссика», 2017 — («Современная западная русистика» /  
«Contemporary Western Rusistika»)

ISBN 978-5-907532-04-5

Книга историка Яна Кэмпбелла посвящена взаимоотношениям между  
российским имперским центром и степной казахской периферией. В своем  
исследовании ученый приходит к выводу, что эта часть света была настолько  
непонятна царским чиновникам, а знания о регионе были столь необходимы,  
что помощь местных посредников оказывалась незаменимой. Кэмпбелл  
описывает различные модусы взаимодействий Российской империи и ее  
окраин: некоторые из них имели позитивные последствия, а некоторые  
приводили к губительным для местного населения результатам.

УДК 94(574)  
ББК 63.3(5)5-69К98

ISBN 978-5-907532-04-5

© Кэмпбелл Я., 2017  
© Библиороссика, 2017

## Содержание

Благодарности	6
Введение	8
Власть, знания и российская экспансия	10
Казахские посредники в историческом контексте	12
Посредники, их деятельность и власть	16
Источники	18
Несколько слов о сравнительном методе	19
Краткий обзор глав	21
Глава 1	22
Агенты, источники, сети: как познать окраину империи	24
Прошлое	26
Настоящее: земля	30
Конец ознакомительного фрагмента.	32

**Ян Кэмпбелл**  
**Знание и окраины империи.**  
**Казахские посредники и российское**  
**управление в степи, 1731-1917**

*Линдси и Саймону*

*Никаких слов никогда не хватит.*

*Но я все равно написал их 100 000 для вас.*

Ian W. Campbell

**Knowledge and the Ends of Empire**

Kazak Intermediaries and Russian Rule on the Steppe, 1731-1917

Cornell University Press 2017

Перевод с английского Андрея Разина и Изабеллы Захаряевой



© Ian W. Campbell, text, 2017

© Cornell University Press, 2019

© А. Разин, перевод с английского, 2021

© И. Захаряева, перевод с английского, 2021

© Academic Studies Press, 2022

© Оформление и макет, ООО «Библиороссика», 2022

## Благодарности

Понадобилось бы отдельное приложение к этой книге, вознамерясь я перечислить всех, кому обязан ее появлением в итоге десятилетия трудов. Постараюсь назвать самых значимых из них. Если вас я здесь не упоминаю, знайте, что это сделано намеренно, по сугубо личным причинам.

Разные организации то и дело платили мне только за то, чтобы я сидел и читал, с надеждой, что в конце концов я что-нибудь напишу. В Мичиганском университете полный пакет финансирования от исторического факультета включал несколько стипендий по иностранным языкам и региональным исследованиям. Грант программы Fulbright-Hays DDRA<sup>1</sup> дал мне возможность провести исследования в России и Казахстане в 2008–2009 годах. Аспирантская стипендия в Центре российских и евразийских исследований имени Дэвиса Гарвардского университета открыла мне просторы для нового общения и распахнула дверь в сокровищницу – библиотеку Вайднера. Администрация Калифорнийского университета в Дейвисе дала мне постдок, присовокупив к нему щедрый стартовый пакет, за счет чего я смог еще два раза поработать летом в российских архивах. Я одновременно благодарен за полученные возможности и сожалею о том, что нынешнее поколение аспирантов не имеет к ним такого же доступа.

Хочу выразить особую признательность за тот капитальный багаж знаний по истории России и Евразии, что я получил в Мичиганском университете. Валери Кивельсон стала моим первым преподавателем российской истории после того, как в 2002 году я случайно забрел на ее курс по средневековой Руси, будучи на тот момент уверенным только в том, что больше не хочу заниматься химией. Сомневаюсь, что кто-то из нас предполагал, что наше общение продолжится спустя 15 лет. Дуглас Нортроп начинал работать в Мичигане, как раз когда я искал место, где можно было бы получить степень доктора философии. Все следующие десять лет он был для меня примером такого ученого, каким я надеюсь стать: обладающего широкими и глубокими познаниями, неукоснительно скрупулезного, доброго и справедливого. Я благодарен ему за то, что он дал мне шанс. Билл Розенберг и Питер Холквист также были моими драгоценными наставниками и учителями и во время моей учебы в аспирантуре, и после ее окончания.

Просто блаженством было работать с издательством Cornell University Press на протяжении всего этого времени. Я благодарю Роджера Хейдона за то, что он счел этот проект стоящим, за сдержанное здравомыслие в редакции, за откровенное, непредвзятое отношение ко всему этому предприятию. Бесценным было то, как руководила издательским процессом Сьюзен Спектер. Благодаря внимательной редакции Кэролайн Паунси мне удалось избежать нескольких досадных ошибок. Билл Нельсон отлично поработал над картами. Два независимых рецензента исходной рукописи дали очень полезные комментарии, причем одного из них хватило даже на то, чтобы написать примечания ко всему тексту. Редкостное проявление коллегиального духа, которому я надеюсь соответствовать.

Частично ранняя версия главы 5 появилась в виде статьи [Campbell 2011]; отдельные фрагменты книги вошли в [Campbell 2018].

Мне посчастливилось подружиться со многими коллегами в этой области, и более того, привлечь новых друзей к содействию в работе над этой книгой. Многие из них – Мария Блэквуд, Сара Кэмерон, Майкл Хэнкок-Пармер, Анна Грабер, Майя Петерсон, Кимберли Энн Пауэрс, Ребекка Рамзи и Чарльз Дэвид Шоу – на разных этапах прочли отдельные части рукописи и внесли предложения, которые значительно улучшили текст. Трудно переоценить содержатель-

---

<sup>1</sup> Программа международных обменов в области образования, начатая в 1946 году по инициативе сенатора У Фулбрайта. – *Примеч. пер.*

ный комментарий Юлии Фейн к разделу, посвященному обзору диссертаций. Юрий Слезкин и Виктория Фреде любезно предоставили мне возможность поделиться некоторыми идеями из книги на историческом кружке в Калифорнийском университете в Беркли, а благодаря Лоре Адамс и Терри Мартину я смог провести семинар по двум главам книги в Гарварде. Особая благодарность Пей-Йи Чу и Кэти Фриерсон за то, что они превратили наш офис в Гарварде в уютный уголок дружеского общения, где, однако, нам удавалось и поработать. Также спасибо Александру Моррисону за его неизменную щедрость в обмене заметками и ссылками (и, что немаловажно, за то, что иногда он принимал на себя гнев посетителей читального зала в Алматы). Заура Батаева и Джонатан Вашингтон перепроверяли некоторые заковыристые переводы с казахского.

В Алматы я бы не сделал и половины сделанного без поддержки и руководства Айгуль Аубакировой. Айгуль, Юрий Шнейдемюллер и их родные тепло меня встречали и заботились обо мне; без них мне было бы скучно и одиноко. В Санкт-Петербурге я начал относиться к комнате в квартире Людмилы Пироговой как к своему второму дому. Я благодарен ей за многочисленные беседы и множество прекрасных обедов.

В Дейвисе я попал в удивительно сплоченный и дружелюбный коллектив, который дал мне все, о чем я мог мечтать, чтобы добиться успеха. Многим из моих коллег и аспирантов пришлось прочесть черновики частей рукописи; это Дэвид Биале, Диана Дэвис, Эдвард Дикинсон, Омния Эль Шаكري, Кэти Харрис, Эллиотт Харвелл, Куинн Джавере, Салли Макки, Мэтью Вернон, Чарльз Уокер и Луи Уоррен. Их замечания и готовность поделиться своим опытом были для меня более чем ценными. Кроме того, два полуофициальных вида времяпровождения не давали мне заскучать и напоминали, что есть мир и за пределами печатного слова. Я счастлив отметить здесь, как хорошо было раз в неделю пропустить по пивку с доцентами Куинн Джаверсом, Мариан Шлоттербек, Мэтью Верноном и Адамом Зиентеком. Не менее важны, и не в последнюю очередь для того, чтобы не рос пивной животик, были частые поездки на велосипеде по холмистым уголкам Калифорнии пелотоном в составе Ари Кельмана, Пабло Ортиса, Саймона Сэдлера и Чарльза Уокера.

Мои родители, Грегори и Энн Кэмпбелл, неизменно служили мне поддержкой. Выросшие в сельской местности на севере Мичигана, они изо всех сил стремились дать мне все шансы и возможности думать, учиться и творить. Они с самого начала поддерживали меня в моих изысканиях и научной карьере, хотя из-за всего этого я не мог навещать их так часто, как они были вправе ожидать. Мой брат Бэрд Кэмпбелл – блестящий, критичный, неглупый читатель, что делает его идеальным собеседником, когда я захожу в тупик в своих размышлениях и писанине.

Самые важные люди, которых следует поблагодарить, – те, кому посвящена эта книга. Линдси Мальта вошла в мою жизнь в 2007 году, когда этот проект еще только начинался, и уже никогда из нее не уходила. Чего она только не пережила за эти годы, пока я доводил работу до конца: и захудалые съемные квартирки, и редкие разговоры по скайпу, и февральский ветер с Мойки. Несмотря на все эти испытания, она выстояла. Как следствие, второй адресат посвящения – наш сын Саймон Чарльз, который появился на свет, когда рукопись была отправлена на рецензирование, и благодаря ему весь процесс редактирования прошел более удачно, чем я мог себе представить. Я люблю вас обоих больше, чем можно выразить словами.

## Введение

В начале 1870 года, столкнувшись с, казалось бы, будничным вопросом о жалованье и обеспечении казачьих войск на протяженной границе сибирской степи с Китаем, Военное министерство Российской империи подало довольно путаный запрос о данных: чтобы решить поставленный вопрос о довольствии казачьих войск, несущих службу на границе с Китаем, Военному министерству необходимо было знать, действительно ли пикет Укек и бывший пикет Чандыгапуй в Бийском районе Томской области расположены на границе с Китаем<sup>2</sup>. Если знания для государства – хлеб насущный, то Российская империя всегда балансировала на грани голодного пайка. Так обстояло дело в далеких сельских уголках европейской части России, на судьбу которых после освобождения крепостных существенно повлияло отсутствие статистических данных о их жителях (о налогах и статистике см., например, [Darrow 2000:59–68]). Еще в большей степени это касалось частей империи, удаленных от крупных столичных центров, где уклад жизни, обычаи и языки населения были иными, нежели в славянском ядре государства. В этой книге рассказывается о попытках Российской империи решить эту фундаментальную проблему в одном стратегически важном, но трудном для управления регионе. История освоения Казахской степи и управления ею неотделима от процесса производства знаний о ней как русскими, так и казахами<sup>3</sup>.

С одной стороны, в отличие от других европейских империй, у российской монархии вплоть до 1917 года сохранялись пробелы в сведениях о ее окраинах (в частности, А. Моррисон отмечает отсутствие кадастра для Туркестана [Morrison 2009]). С другой стороны, знания, имевшиеся в ее распоряжении (то, что историк К. А. Бейли называет «архивной глубиной»), в период между первоначальным присоединением Казахской степи в начале 1730-х годов и распадом империи двумя веками позже росли в геометрической прогрессии [Bayly 1996: 349]<sup>4</sup>. На первый взгляд представляется, что достижения царского правительства в степи в этот период говорят об очевидной и прямой взаимосвязи между знанием и государственной властью. Все более глубокие военно-тактические и топографические знания, распространявшиеся через специализированные журналы, способствовали быстрому военному продвижению на юг, к туркестанским оазисам. К концу 1800-х годов количество специализированных агрономических и статистических обзоров увеличилось; их задачей была поддержка набравшего темп переселения славянских земледельцев в степь. По мере того как «цивилизаторские» голоса внутри империи объявляли русский язык и институты царизма проводниками навыков и умений, необходимых грубым, диким кочевникам, чтобы модернизироваться, формировалась небольшая, но активная группа местных посредников между степью и государством, которая соглашалась с их аргументацией. По многим показателям, по которым можно судить об империи, в Средней Азии и казахской степи русская имперская политика имела успех, и знания, накопленные российскими учеными и чиновниками об этих регионах при значительной помощи казахских посредников, сыграли в этом важную роль. Но хотя империя, согласно ее собственным критериям, преуспела, ее политика подготовила почву для крупного восстания накануне революций 1917 года; при этом усилилась изоляция автономистского движения, участники которого ранее проявляли готовность участвовать в имперских институциях. Это

<sup>2</sup> РГВИА Ф. 400. Оп. 1. Д. 211. Л. 1 (Главное управление нерегулярных частей – Главному штабу, 5 января 1870 г.). Название документа: «О научной работе Федченко и др. о Туркестане».

<sup>3</sup> Слово «знания» здесь используется в значении, отличном от «информации»: имеется в виду организованный и систематизированный материал, а не данные на первичном уровне концептуального описания. В этом я следую за К. А. Бейли [Bayly 1996].

<sup>4</sup> Взаимное (и иногда продуктивное) недопонимание, порождаемое незнанием такого рода в степной дипломатии, описано М. Ходарковским [Khodarkovskiy 1992, 2002].

кажущееся противоречие лучше всего можно объяснить, изучив, какими знаниями обладали русские и казахи о степи в ее социальном и административном контекстах.

Данное исследование не входит в длинный список трудов о репрезентациях и категориях имперского правления и не служит простой констатацией подчиняющей силы дискурса [Adas 1989]. Меня больше вдохновляют работы историков и философов науки, заинтересованных не в построении категорий и концепций как таковых, а в том, как формируются и пересматриваются убеждения людей на основе имеющихся в их распоряжении знаний [Goldman 2010]<sup>5</sup>. Я. Хакинг, рассматривая естественные науки, выделяет три аспекта социально-конструктивистских аргументов и предполагает, что конструктивисты, так же как их оппоненты, постоянно колеблются между этими тремя: случайность (то есть идеи могли возникнуть не так, как они возникли), номинализм (мир структурирован посредством человеческих представлений) и объяснение через стабильность (обусловленную объективной реальностью или общественным согласием) [Hacking 1999: 68–99]<sup>6</sup>. Пользуясь определениями Хакинга, эпистемологическая основа этой книги по большей части является социально-конструктивистской. Но этим далеко не исчерпывается список вопросов, которые могут быть правомерно заданы о совместном формировании идей о степи и ее населения Российской империей и ее посредниками в Казахской степи.

Царские чиновники отчаянно пытались получить знания, которые помогли бы им формулировать и реализовывать политику в степи. В то же время, как только Российская империя создала немногочисленные институты (газеты и школы), которые сделали ее *mission civilisatrice*<sup>7</sup> в регионе чем-то большим, нежели чистая риторика, она провозгласила себя и, в частности, русский язык проводником в мир полезных знаний, лежащий за пределами дикой, мрачной степи. И в том и в другом отношении воззрения царизма на знания сформировали дискурсивное и институциональное пространство для казахских подданных, для их самоопределения и продвижения их собственных интересов. Встреча Российской империи со степью, хотя и характеризовалась неравным соотношением сил, была, таким образом, обменом знаниями, при котором казахи и русские представляли себя и друг друга *друг другу*. Многие из этих представлений имели долгосрочные социальные и политические последствия, выявление которых и является основной задачей настоящей работы.

---

<sup>5</sup> Э. Голдман отвергает постструктуралистские подходы как «ревизионистские», выходящие за рамки традиционной эпистемологии [Goldman 2010:3].

<sup>6</sup> В понимании Я. Хакинга Т. Кун, например, выступает как предельный конструктивист во всех трех аспектах.

<sup>7</sup> Цивилизаторская миссия (*фр.*). – *Примеч. ред.*

## Власть, знания и российская экспансия

В таком проекте неизбежно приходится учитывать огромный массив критических и мета-критических трудов об отношениях между властью и знаниями в условиях империи. Исследователи русского империализма обсуждают этот вопрос уже почти два десятилетия, в основном через призму первопроходческого исследования этой проблемы, книги Э. Саида «Ориентализм» [Саид 2006]. Отдельные ученые и научные организации в своих специализированных исследованиях сходятся во мнении, что российский ориентализм был более тонким и менее монолитным, чем предполагает модель Э. Саида, что он был разнообразным и принципиально аполитичным<sup>8</sup>. Но остаются сомнения в том, что эти исследования демонстрируют уникальность русского ориентализма; исследователи других империй не менее ясно показали, что ориентализм не монолитен и что связь между наукой и политикой никогда нельзя полагать очевидной [Marchand 2009; Charles, Cheney 2013]. Здесь мы сталкиваемся с привычным в науке явлением: после многих лет целенаправленных эмпирических исследований возникает обширный теоретический текст, который может лишь с оговорками применяться ко всем временам и странам.

Такой подход к отношениям власти и знания можно подвергнуть критике, даже согласно его собственным принципам, с двух сторон. Во-первых, хотя эмпирическое исследование интеллектуальной биографии полезно как средство восстановления историчности для ученых, подчиненных тотализирующей парадигме ориентализма, история текстов и идей не ограничивается теми последствиями, на которые рассчитывали их авторы. Эту идею с 1940-х годов развивают литературоведы, а в 1980-е годы она была решительно высказана Б. Латуром в отношении точных наук<sup>9</sup>. В этой книге мы не раз увидим, что чиновники воспринимают идеи ученых совершенно иным образом, нежели предполагали последние. Соответственно, чтобы понять взаимосвязь между наукой и империализмом, знанием и властью, особенно в автократическом государстве, необходимо проследить распространение и генеалогию идей – от научных работ до имперской администрации, в том виде, в каком эти идеи мыслились, практиковались и жили. Во-вторых, принятая среди русистов сосредоточенность на филологически ориентированных классических дисциплинах востоковедения привела к небрежению другими дисциплинами, такими как география и статистика, в которых связь между знанием и государственной властью прослеживается более четко. Слишком буквальное следование за Саидом привело к тому, что общепринятое мнение о взаимосвязи между властью и знанием расходится с историческими данными о Казахской степи.

Между тем историография других европейских империй предоставляет нам более точные инструменты анализа той же самой проблемы. В этом смысле особенно примечательны работы Б. Кона и К. А. Бейли. В исследованиях Коном продуцирования знаний и британского правления в Индии классификация и категоризация тесно связаны с управлением; императивы правления придали форму тому, что он именуется «исследовательскими модальностями», с помощью которых соответствующие знания собираются и преобразовываются в формы, пригодные для использования [Cohn 1996:4–5]. В настоящем проекте ориентализм *stricto sensu*<sup>10</sup>, понимаемый как знание языков, послужил предпосылкой, или пассивным помощником, в исследовании по-настоящему полезных знаний, предлагаемых обзорами и переписями населения [Там же: 4, 21]. Государственное строительство зависело от конкретных процессов

<sup>8</sup> Невзирая на энергичные возражения А. Халида [Халид 2005], это общепринятое мнение высказывают такие авторы, как Н. Найт [Knight 2000], Д. Схimmelпэнник ван дер Ойе [Схimmelпэнник ван дер Ойе 2019], В. Тольц [Тольц 2013].

<sup>9</sup> Весьма скептическую трактовку «новой критики» с ее подчеркнутым игнорированием авторской интенции см. в [Иглтон 2010: 70–75; Латур 2013: 69–70].

<sup>10</sup> В строгом смысле (*лат.*). – *Примеч. ред.*

документации и классификации, из которых одни были чисто административными, а другие развивались в научные дисциплины. Кон взял на себя труд проследить связи между этими процессами и инструментализацией знания в конкретных исторических контекстах.

Бейли критикует Саида в том плане, что «ориентализм... был лишь одним из множества локальных соотношений между властью и знанием»; это вытекает из той же потребности определить исторический контекст явления, но идет дальше, подчеркивая слабость британского колониального государства и важность местных посредников и форм знания [Bayly 1996: 143]. То, что Бейли называет колониальным информационным порядком, было «воздвигнуто на фундаменте его индийских предшественников», и у британцев не осталось иного выбора, кроме как адаптироваться к уже существовавшим каналам и формам знаний [Там же: 3–9, 179]. Хотя такая адаптация приводила к постепенному росту числа колониальных «экспертов» и постепенному углублению понимания местных условий, она не разрушала прежний информационный порядок и не подрывала полностью авторитет местных способов познания. В ключевые моменты, особенно во время мятежа 1857 года, британская администрация продемонстрировала фундаментальное незнание и непонимание страны, неспособность справиться с тем информационным порядком, который им предшествовал. Продуцирование знаний в колониальном контексте, как показывает Бейли, всегда должно в некоторой степени зависеть от местных акторов, каналов и взаимопонимания, однако результаты подобного сотрудничества редко бывают предсказуемыми или однозначными.

И К. А. Бейли, и Б. Кон призывают нас внимательно изучить условия продуцирования знаний как административного инструмента и как социального процесса. В Казахской степи слабое имперское государство осознавало степень своего неведения и постепенно нащупывало способы мышления и обучения, которые могли бы решить его проблемы. Казахские посредники, взаимодействуя с царским правительством, были только рады выступать носителями полезных знаний. Они были жизненно важной частью исторической связи между знанием и властью, хотя границы между их знаниями – как и любыми экспертными знаниями – и формулированием политики редко бывали четкими.

## Казахские посредники в историческом контексте

Если, следуя этим методологическим ориентирам, поместить в соответствующий социальный и интеллектуальный контекст как казахских посредников, так и произведенные ими знания, вырисовывается новая картина. Присоединение степи к Российской империи произошло без четкого понимания того, что с ней потом делать; имелось лишь общее представление, что она должна изменяться и развиваться. В исследованиях, которые ученые и администраторы предприняли для прояснения этой проблемы, поначалу не было особого единодушия. Изучение кочевого скотоводства, религии, обычного права, а также флоры и фауны часто предназначалось для ответа на неотложные вопросы формирования политики. Некоторые казахи, используя и подчеркивая свое знание этих предметов изнутри, какое-то время могли давать на них собственные ответы; убедительность подачи этих ответов, в свою очередь, во многом зависела от конкретной административной и социальной среды, в которой действовали эти посредники. Исследователи истории африканского колониализма отмечают «существенные различия в жизни посредников» по мере становления колониального государства [Lawrance et al. 2006: 30]. На протяжении почти двух столетий так же менялись роль и авторитетная значимость казахских посредников.

С первых же лет присоединения степи (условно датируемого 1731 годом) до конца XIX века в распоряжении царских чиновников имелось поразительно мало полезных данных о ее внутренней политике и окружающей среде. Они управляли в основном цепью укреплений на севере, понимая, что есть области, в которые они не могут вмешиваться, и обладая не столько систематизированными знаниями, сколько изрядной долей *savoir faire*<sup>11</sup>. То, что возникло рядом с границей, было своего рода «фронтирным» обществом, которое спланировалось многочисленными культурными сношениями, торговлей и креолизацией [Malikov 2011] (ср. [Barret 1999]). Глубже в степи лежал мир, политику, обычаи и окружающую среду которого царские администраторы мало знали и понимали; для выполнения даже простых задач были необходимы местные проводники, носители информации, а не знаний.

Эту ситуацию устойчивого равновесия изменили как стратегические соображения, так и новые концепции управления. Царские чиновники считали искусственную границу в северной части степи уязвимой (о чем свидетельствовали частые набеги). Уходя от границы в карательные и стратегические экспедиции, российские имперские войска постепенно захватили большую часть степи. В результате продвижения войск все больше казахов оказывалось под прямым контролем царского правительства, хотя устанавливавшиеся над ними модели правления различались. Эти шаги, если только они не делались в приступе «рассеянности», предпринимались в основном из стратегических соображений, без ясного представления о том, как можно будет использовать степь, когда она станет частью империи [Morrison 2014a: 165]. В то же время изменились и модели правления в некоторых казахских областях: с 1822 года казахи в степи Восточной Сибири управлялись напрямую через окружные приказы (районные административные центры с полицейскими и судебными функциями, с участием как русских, так и казахских представителей)<sup>12</sup>.

По мере того как все больше земель и людей в степи подчинялись царской администрации, а намерения последней в отношении степи выходили за рамки простого поддержания стабильности или умиротворения, характер зависимости царского правительства от

<sup>11</sup> Это выражение (*франц.* «сноровка», «практическое умение». – *Примеч. ред.*) в данном контексте было употреблено К. Тайхманом в личной беседе с автором.

<sup>12</sup> Об окружных приказах см. [Olcott 1995: 59]. В. Мартин в эмическом анализе земельных отношений в Сибирской степи рассматривает 1822 год как переломный момент с точки зрения царского административного вмешательства в жизнь степи [Martin 2010: 80–83].

нерусских посредников изменился. Особенно актуальным это стало после обнародования Временного положения 1868 года, которое значительно расширило все еще скромные бюджеты и штат степной администрации. Первоначально обучавшиеся в немногочисленных русскоязычных школах в провинциальных городках, эти посредники в основном становились скромными приказными служащими, писарями и переводчиками, – жизненной основой имперского государства<sup>13</sup>. Однако некоторые русскоязычные казахи пошли дальше, активно изучая своих сородичей и родную среду и публикуя свои выводы. Последние, согласно схеме историка А. Меткалф, были «репрезентативными» посредниками, поставившими царской администрации знания о степи и ее обитателях [Metcalf 2005: 9-13]. Даже в конце XIX века изголодавшиеся по знаниям чиновники в центре и на местах были склонны приветствовать поступление знаний от посредников, хотя стратегические и политические приоритеты (сами по себе не единообразные) ограничивали диапазон приемлемых сведений.

Эта неопределенная ситуация в степи отражала в миниатюре отношение Российской империи к собственному внутреннему разнообразию во второй половине XIX века. П. Верт, исследуя обращение в веру и отступничество в Волго-Камском регионе, утверждает, что с конца 1820-х годов имперская модель, свойственная старому режиму, начала трансформироваться из государства, в основе которого лежала верность престолу (и, таким образом, допускавшего существенное разнообразие), в модель национального государства на основе ассимиляции [Werth 2002: 7]. Важно, что, по мнению Верта, этот переход так и остался незавершенным, и это делало Российскую империю «чем-то *половинчатым*» и ограничивало ее способность проводить последовательную конфессиональную политику в отношении мусульман и язычников региона [Там же: 7] (курсив Верта). Р. Джераси, исследуя политику, относящуюся к признакам этнической идентичности, на примере Казани, приходит примерно к тем же выводам: существовали конкурирующие модели ассимиляции нерусских подданных империи (и при этом серьезные сомнения в ее целесообразности), отражавшие несовместимые друг с другом концепции русской национальности [Джераси 2013]. С одной стороны, подобные проблемы пагубно сказывались на поддержании имперского правления; с другой стороны, в отношении нерусских подданных не существовало единообразной имперской политики, которой они должны были подчиняться или которую могли бы отвергать, но имелся набор вариантов, среди которых можно было лавировать.

Р. Джераси отмечает, что в последние годы правления династии Романовых политический курс Российской империи резко повернулся вправо, отвергнув ассимиляционные модели в пользу сохранения различий<sup>14</sup>. Точно так же в начале XX века, несмотря на возникновение после революции 1905 года новых представительных институтов, подававших определенные надежды, пространство маневрирования для казахских посредников закрылось с поразительной быстротой. Центральная администрация разработала новые первостепенные задачи, связанные с экономической модернизацией империи; для степи это, главным образом, означало массовое переселение крестьян из европейской части империи. Растущий массив статистических и агрономических данных, ставший логическим продолжением более раннего производства знаний как на окраинах (география и рассказы о путешествиях), так и в центре (статистические исследования крестьянских домохозяйств), послужил подспорьем и сделал возможным реализацию этой политики. По сути, Главное управление землеустройства и земледелия (ГУЗиЗ), отвечавшее за переселение крестьян, было, вероятно, самой надежной с точки зрения знаний организацией в Российской империи после 1900 года<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> О неказахских посредниках в степи см. [Sultangalieva 2012].

<sup>14</sup> См. [Hillis 2013], превосходный анализ способов, с помощью которых разные локальные образы мышления в одном и том же контексте становились совместимыми с реакционной парадигмой национального государства.

<sup>15</sup> Аналогичные рассуждения по поводу Переселенческого управления, подконтрольного ГУЗиЗу после 1905 года, см. в [Holquist 2010]. Более широкий взгляд на институциональные культуры царской России см. в [Rieber 1978].

Местные помощники продолжали играть жизненно важную роль в организации земельных и экономических исследований, которые часто проводило ГУЗиЗ. Но казахи, которые стремились идти дальше и продуктивно взаимодействовать с новой концепцией окружающей их среды, которую навязчиво предлагало ГУЗиЗ (то есть выступать против массового переселения), обнаружили, что как в русскоязычной, так и в зарождающейся казахской прессе их аргументация достаточно холодно воспринимается всеми лицами, принимающими решения и слишком влиятельными, чтобы им противоречить. Н. Диркс на примере Индии описывает маргинализацию, апроприацию и замалчивание местных голосов по мере укрепления имперской эпистемологической модели [Dirks 1993]. Казахи с их устаревшей к тому моменту аргументацией оказались «в хвосте» сходного процесса. К несчастью для этих благородных и образованных посредников, после столыпинского «третьеиюньского переворота» 1907 года решения принимались без какого-либо, даже символического, представительства Казахской степи в Государственной думе [Hosking 1973: 14–55]. Исключение ее представителей, мотивированное политической незрелостью населения региона, имело в основном политическое значение. Оно имело целью создание более консервативного, русскоцентричного и (как хотелось надеяться) послушного представительного органа. Но это также коренилось в распространенных в Российской империи начала XX века своеобразных представлениях о социальном эволюционизме, кочевничестве и исламе<sup>16</sup>. Казахские автономисты, сами будучи плодом цивилизаторской миссии Российской империи и живым доказательством того, что политика вовсе не лежит за пределами возможностей казахов, ставили это под сомнение, без особого успеха добиваясь своих прав внутри империи, приоритеты которой теперь противоречили тому, в чем, в их понимании, заключались интересы казахского народа<sup>17</sup>. Их попытка обсуждать свои права исходя из своего статуса культурных «инсайдеров» и носителей местного опыта потерпела неудачу, когда другая сторона прекратила с ними разговаривать.

Подавляющее большинство казахов, наиболее сильно пострадавших от переселения, не были ни авторами, ни читателями журналов, в которых приводились эти аргументы. Но у них имелись свои способы выразить собственное мнение; наиболее ярко это проявилось во время Среднеазиатского восстания в 1916 году. Причинами восстания в равной степени послужили бездарно введенная военно-трудовая повинность казахов и других жителей Средней Азии (обычно не подпадавших под призыв на воинскую службу), изменение привычного образа жизни и ухудшение экономического положения кочевников, вызванное переселением. Первое показало, что попытки царского правительства взаимодействовать с казахскими посредниками провалились на всех уровнях; последнее стало результатом несостоятельности статистических данных, на которые так уверенно опиралось переселение. Подобно тому, как британское государство в Индии после мятежа укрепляло свои позиции, но при этом игнорировало некоторые структуры, к которым прежде имело непосредственное отношение, проводники царской политики в степи дистанцировались от полезных и важных способов ее познания с катастрофическими для этого последствиями [Bayly 1996: 348–350].

Восстания в Средней Азии подавлялись достаточно быстро, где бы они ни вспыхивали, и влекли за собой карательные кампании против кочевников. Трудно сказать, что бы произошло,

---

<sup>16</sup> М. Могильнер [Могильнер 2008] рассматривает физическую антропологию царской России в терминах Т. Куна – не как монолитную, а как парадигматическую, то есть характеризующуюся значительным разнообразием мышления в рамках узкого набора научных практик. В данном контексте это определение будет уместным в применении к таким дисциплинам, как этнография и востоковедение. См. также [Кун 2020].

<sup>17</sup> Эта характеристика казахского автономизма взята из прекрасной диссертации П. Роттиера «Создание казахской нации: интеллигенция в поисках признания в Российской империи» [Rottier 2005], где излагается в высшей степени конструктивистский взгляд на это движение. Почти столь же конструктивистский подход демонстрирует С. Сейбол, ищущий источники этнической солидарности в доколониальной эпохе [Sabol 2003]; ближе к примордиалистскому подходу стоит работа К. Карпата [Karpat 1993]; Ч. Веллер [Weller 2006], защищая этнонационализм от «западного модернизма», принимает глубоко примордиалистский тон.

если бы вскоре после восстания 1916 года в Петрограде не произошла Февральская революция; по некоторым признакам можно предположить, что меры должны были быть исключительно жесткими. Но революция случилась; восторженный отчет о февральских событиях и призыв к поддержке нового правительства, появившиеся в мартовском номере казахской газеты «Цазац», нашли отклик у многих интеллектуалов [Субханбердина 1998: 366–368]. Теперь, оглядываясь назад, мы понимаем, что режим, который после Гражданской войны будет установлен на территории будущей Казахской ССР, вряд ли окажется для интеллектуалов или простых казахов намного более благоприятным, чем предшествовавший<sup>18</sup>. Однако, как и во многих других регионах империи, к февралю 1917 года в Казахской степи царский режим настолько сильно оттолкнул от себя потенциальных союзников, что многие уже не захотели его защищать.

---

<sup>18</sup> Всестороннее рассмотрение периода между 1917 и 1920 годами выходит далеко за рамки этой работы. Некоторое представление о сложностях того времени можно получить из воспоминаний А. Букейханова, в частности, из статьи «Мен Кадет партиясынан неге шыцтым?» («Почему я покидаю партию кадетов?»), где он перечисляет свои претензии к конституционно-демократической партии, в основном состоящие в том, что кадеты в первую очередь озабочены проблемами этнических русских и возражают против национальной автономии [Букейханов 1995: 414].

## Посредники, их деятельность и власть

Поворот к изучению имперского прошлого России был во многом обусловлен интересом к тому, как группы меньшинств формировали имперские идеологии и практики правления, участвовали в них и отвечали на них. Этому способствовало открытие архивов местного и республиканского уровня и расширение возможностей изучения евразийских языков, кроме русского. Главный методологический посыл работ на эту тему состоит в том, чтобы, по выражению В. Мартин, рассматривать объекты исследования (в частности у Мартин – казахов) как «актеров истории, а не как... реципиентов исторических изменений» [Martin 2001:160].

Такие ученые, как Р. Круз и О. Джерсилд, на различных примерах продемонстрировали, что институты царизма служили ареной противоборства понятий национальной идентичности и имперского правления, даже если местные элиты разделяли цивилизаторские взгляды своих царских контрагентов [Jersild 2003; Crews 2006]. Настоящая работа в целом подтверждает эти выводы.

Рассматривая казахских посредников как исторических акторов, пусть даже во многом разделявших основные «прогрессистские» и «цивилизаторские» убеждения своих собеседников-контрагентов, мы не можем утверждать, что они мимикрировали или просто неизбежно принимали взгляды всемогущего имперского государства<sup>19</sup>. Это, в свою очередь, идет вразрез с историографической традицией, согласно которой структуры и дискурсы колониального правления обладают огромной силой. Например, Д. Скотт характеризует Ф. Д. Туссен-Лувертюра как «новобранца современности», чьи решения ограничены неумолимыми изменениями, диктуемыми Новым временем; самому субъекту при этом остается очень мало свободы мысли или действий [Scott 2004]. П. Чаттерджи сходным образом подчеркивает противоречия в индийском национализме, «потому что он рассуждает в рамках знания, чья репрезентативная структура соответствует самой структуре власти, которую националистическая мысль стремится отвергнуть» [Chatterjee 1986:38]. Более поздняя попытка «вернуть нам, когда-то колонизированным, право на свободу воображения» подразумевала, что антиколониальный национализм разделял мир на материальную и духовную области, признавая превосходство Запада в первой и настаивая на своеобразии и отличии второй [Chatterjee 1993: 13, 6].

Однако в степи такого, похоже, не было. Вневременного и плохо определенного конструкта «современность» недостаточно, чтобы объяснить диапазон выбора (и исчезновение выбора), доступный для казахских посредников. И земля, и степняки были для царского правительства непознаваемы или по меньшей мере плохо познаваемы. В этом контексте казахские посредники могли находить способы сотрудничества, в целом плодотворные для империи, и полностью принимать модернизирующие материалистические императивы государства, сохраняя при этом определенную степень интеллектуальной независимости и свободы воли<sup>20</sup>.

Хотя царские наблюдатели, практически все без исключения, считали степь отсталой по сравнению с российской метрополией, они не делали ничего, чтобы исправить положение; кроме того, в них не было согласия касательно способов, которыми можно было бы эту отсталость ликвидировать. В конце концов, цивилизация может принимать разные формы, и к ней могут вести многие дороги. Мобилизация местного опыта на какое-то время дала казахским акторам ограниченное право голоса в этих дебатах. Эти посредники стремились обрести влияние, а с его помощью – подданство, через обмен знаниями. Даже представляя знания внутри современных, или европейских, структур, они получали возможность корректировать политику империализма, реализуемую в степи. Именно переселение изменило ситуацию; ни вре-

<sup>19</sup> О центральной роли наукообразной риторики в другом колониальном контексте см. [Prakash 1999].

<sup>20</sup> Классический тезис о сотрудничестве и империализме см. в [Robinson 1972].

менные рамки применения этой политики, ни направление, которое она приняла, не были исторической неизбежностью.

Можно возразить, что выбор для себя разновидности подчинения имперским властям вряд ли позволительно называть выбором. Однако, учитывая очевидный и необратимый факт завоевания, казахские посредники часто были готовы сделать такой выбор. Даже предполагаемые «европейские» способы познания в контексте слабого государства и чуждой среды представляли достаточные возможности избежать полной капитуляции перед идеологиями и практиками российского империализма<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> О России как о европейском, но не западном государстве см. [Tolz 2010]; о непривычности степной среды для наблюдателей, более привыкших к лесистой местности, см. [Moon 2010].

## Источники

Такая широкая тема, как распространение и использование знаний в огромном регионе на протяжении более чем столетия, становится неуправляемой без хотя бы приблизительного отбора источников. Поскольку этот проект начинался с изучения казахских посредников, моя стратегия заключалась в чтении созданных ими первоисточников и поиске интересовавшей их тематики как в архивах, так и в научных публикациях. Чтобы получить доступ к взглядам этих казахских посредников, я использовал собрания сочинений наиболее известных деятелей (таких, как Чокан Валиханов и Алихан Букейханов), а также, чтобы пролить свет на менее ясные фигуры, периодические издания – полные комплекты («Дала уэлаятының газет!» – «Киргизская степная газета») или подборки (журнал «Айк;ап» и газета «Цазак;»). В связи со смешанным административным статусом региона, известного как «Казахская степь», архивные исследования я проводил в фондах правительств и министерств Санкт-Петербурга, Москвы и Алматы. Архивы имперского периода ограничены и полны умолчаний, но, как предположила Э. Столер, их можно продуктивно читать «между строк»: в нашем случае это означает, что они отражают то, что стремилось знать царское правительство, и то, что извлекали из этого знания важнейшие акторы [Stoler 2009: 17–53]. В научной периодике логичной отправной точкой стали работы, которые считали важными или влиятельными сами казахи. Это не наука в строгом смысле слова, и я склонялся к тому, чтобы читать как можно больше в надежде найти неожиданные связи. Но поскольку при этом я, например, счел особо важной тему крестьянского переселения в казахоязычной периодической печати после 1900 года, значительную часть своих архивных исследований в Санкт-Петербурге я посвятил фондам Переселенческого управления. Мой выбор материала, безусловно, отражает мои собственные интересы и предпочтения, но я бы сказал, что в нем также достаточно объективно отражено то, что волновало героев моего исследования.

## Несколько слов о сравнительном методе

Хотя настоящая работа не является сравнительно-исторической в строгом смысле, в ней нельзя не учесть исследования, посвященные другим империям. В первую очередь это касается истории Южной Азии, области, в которой, как заметил Т. Баллантайн, «отношения знания и власти стали центральной проблемой» [Ballantyne 2001]<sup>22</sup>. Конечно, может показаться, что подобные сравнения идут вразрез с концепцией уникальной природы российского империализма и его «особого пути», рискуя стереть реальные исторические различия между Российской и другими современными ей империями<sup>23</sup>. Поэтому представляется целесообразным привести здесь несколько замечаний о значимости сопоставлений.

Многие из самых распространенных доводов в пользу мнимой «уникальности» Российской империи и объяснений этой уникальности при ближайшем рассмотрении не выдерживают никакой критики. Во-первых, к сожалению, существует тенденция просто повторять риторику имперских политиков, выдавая их слова за исторические факты; такие намеки на исключительно благожелательную природу царского империализма можно сразу отбросить<sup>24</sup>. Более серьезными представляются недавние утверждения А. Эткинды, будто городские элиты Российской империи якобы находились с православным крестьянством сельской России в квазиколониальных отношениях; однако этот тезис оставляет без ответа важные вопросы, если обратить взгляд на Казахскую степь (или, если на то пошло, на Туркестан), где этнические русские имели значительные юридические преимущества перед коренными народами [Эткинды 2013]. Россия была континентальной, а не морской державой, но непонятно, почему поездка, скажем, из Москвы в Омск (1500 миль медленной езды по плохим дорогам) должна было быть более легкой или менее продуктивной в плане познания «другого», чем короткое путешествие на пароходе из Марселя в Тунис. У России были долгие и сложные исторические отношения с землями, которые она в конечном итоге присоединила и освоила, но читатели, например, романа Б. Дизраэли «Танкред, или Новый крестовый поход» поймут, что так же обстояло дело и с имперскими державами Западной Европы. Элита царской империи была в определенной степени многонациональной, но пример шотландцев, достигших высоких постов в Британской Индии, говорит о том, что это вовсе не было чем-то новым или уникальным.

Наконец, Казахская степь существовала в условиях правовой дискриминации как объект завоевания, умиротворения и цивилизаторства. К 1917 году более миллиона славянских поселенцев воспользовались этой юридической дискриминацией для экспроприации земель казахских кочевников. При этом для продвижения азиатов в местную администрацию существовали если не правовые, то фактические препятствия. Царские чиновники писали о метрополии и колониях и ясно понимали, что степные провинции попадают в последнюю категорию. Конечно, степь имела свои особенности, и в этом она ничуть не отличалась от любой когда-либо существовавшей колонии. Но ясно, что если «колониальная империя конца XIX – начала XX веков» – родовое понятие, то Российская империя была одним из ее видов (ср. [Сандерленд 2010]).

Различия, которые существовали между российским империализмом в той форме, в какой он проявлялся в Казахской степи, и империализмом других европейских держав лишь добавляют этому исследованию некоторую локальную самобытность, но не сводят на нет связь

<sup>22</sup> См. также пример Франции [Trumbull 2009].

<sup>23</sup> Наиболее последовательное сравнительно-историческое исследование в контексте Средней Азии – [Morrison 2008]; работу Моррисона весьма скептически оценил А. Халид [Khalid 2010]. Также примечательна реакция на работу В. Сандерленда [Sunderland 2004], в частности, резкая отповедь И. О. Грачева и П. А. Рыкина [Грачев, Рыкин 2007]. А. Моррисон [Morrison 2007] защищает Сандерленда, используя примерно ту же аргументацию, что и я в данном разделе.

<sup>24</sup> См., например, [Глушенко 2010].

с другими историографиями. Слабость царского государства по сравнению с некоторыми из его аналогов делала его особенно зависимым от нерусских посредников. Неоднородность правовых механизмов, которые столичное ядро империи применяло к различным этническим группам и территориям; слабое и запоздалое развитие массового русского национального самосознания; сохранение династической, а не национальной модели империализма – все это придавало необычайную силу требованиям местных акторов серьезно относиться к их знаниям, опыту и видению будущего. В то же время в таком крайне нелиберальном государстве, как Российская империя, знания местных акторов практически ни на что не влияли. Политика могла формулироваться (и нередко формулировалась) произвольно. Таким образом, положение посредников и те специальные знания, которыми они, по их утверждению, обладали, всегда было нестабильным и в конечном итоге зависело от прихоти местных начальников, губернаторов и министров. В этом шатком положении и кроются причины закрытия пространства, которое создали для себя казахские посредники в самом начале XX века.

## Краткий обзор глав

Идеи книги излагаются в шести главах. Глава 1 знакомит читателей с географией и природными условиями степи, а также с основами жизни кочевого сообщества. Пользуясь общим подходом к академической истории Средней Азии, эта глава позволяет читателю взглянуть на степь так, как видела ее царская администрация до 1845 года; здесь читатель познакомится с предположениями и допущениями чиновников, а также со значительными пробелами в их знаниях о регионе<sup>25</sup>. Попытки двух учреждений, Генерального штаба и Императорского русского географического общества (ИРГО), заполнить эти пробелы служат предметом следующей главы; в качестве примера эффективности этой работы рассматривается составление Временного положения 1868 года.

По замыслу, Временное положение было открыто для изменений, это был пробный документ, составители которого прекрасно понимали степень собственного незнания местных условий. Это, в свою очередь, создало для местных акторов особенно благоприятные условия, позволявшие им влиять на способы управления, которым они подчинялись. И глава 3 представляет собой анализ иного рода: исследование биографии этнографа и педагога Ибрая Алтынсарина (1841–1888). Здесь вводится понятие «репертуаров управления», чтобы объяснить как возможности, так и ограничения, которые влекло за собой участие Алтынсарина в царском производстве знаний и управлении знаниями [Burbank, Cooper 2010: 3–8]. Глава 4 посвящена дальнейшему рассмотрению участия казахов в цивилизаторской миссии Российской империи и, в частности, притязаний цивилизаторов на то, что они представляют более развитую в научном и техническом смысле культуру. В главе рассматривается творчество акына Абая Кунанбаева и страницы «Киргизской степной газеты» (КСГ). Показано, что, хотя некоторые казахские посредники приветствовали эти цивилизаторские притязания, для воплощения их на практике были жизненно важны местный опыт и экспериментирование в местных условиях.

Вопрос о переселении крестьян, возникший еще в 1870-е годы, формировал пространство принятия решений, в котором мог действовать Алтынсарин и другие посредники. Когда царское правительство начало активно проводить эту политику (то есть после 1896 года), места для дискуссий больше не осталось. В последних двух главах эта динамика рассматривается в двух разных аспектах. Первый основан на анализе ряда статистических исследовательских экспедиций в регион и использования (в том числе неправильного) их данных. Эти статистические данные в конечном итоге послужили основой – как тогда представлялось, научной – для переселения крестьян, которое не должно было нанести ущерб интересам казахов, оставшихся кочевым народом<sup>26</sup>. Однако с точки зрения экспроприированных казахов это было иллюзией. Так, в последней главе исследуются идеи, лежавшие в основе экономического и политического отчуждения казахов (и других жителей Средней Азии) от Российской империи, а также их попытки претендовать на значимую роль и защищать свои интересы в пространстве дискуссий и дебатов, где они действовали прежде.

Крах империализма, проявившийся в Среднеазиатском восстании 1916 года, был двусторонним: с одной стороны, это был провал политики царизма, основанной на преднамеренно выборочном знании о степи, с другой – крушение отношений с посредниками, которые поддерживались на протяжении десятилетий. В этой книге показано, почему произошел этот крах и почему он оказался, по всей видимости, неожиданным для российских и казахских наблюдателей.

---

<sup>25</sup> Непосредственным методологическим основанием для этого послужил метагеографический подход М. Вассина к истории Сибири [Bassin 1999].

<sup>26</sup> В. Сандерленд в другом контексте называл это эпохой «правильной колонизации» [Sunderland 2004: 177].

## Глава 1

# Благими намерениями близорукое государство Знакомство с Центрально- Евразийской степью, 1731–1840

Англоязычные научно-образовательные издания о Средней Азии нередко начинаются с беглого вводного очерка, обязательной части, где читатель знакомится со спецификой местной географии, истории и образа жизни<sup>27</sup>. Это вполне разумный подход. Так как даже прекрасно образованный англоязычный читатель едва ли имеет представление об этом регионе, необходимо с самого начала очертить его характерные особенности. Вводный очерк способствует тому, что ученые монографии о социальной и культурной истории Средней Азии становятся доступными более широкому кругу читателей.

Однако для настоящей работы, имеющей целью поместить в исторический контекст те самые источники, на которых, собственно, и мог бы основываться такой очерк, такой подход в лучшем случае неудобен, а в худшем – недопустим по двум причинам. Во-первых, соединение взглядов сторонних наблюдателей, принадлежавших самым разным эпохам и писавших в совершенно разных жанрах (путевые заметки, этнографические труды, административные отчеты) не позволяет увидеть, как эти взгляды менялись с течением времени. Во-вторых, глядя с такой всеобъемлющей точки зрения, трудно понять, насколько зависимым было положение царских чиновников, закрепленных за степью. Сообщения о плохих дорогах, набегах или беспорядках могли доходить до них через несколько месяцев; даже такие базовые данные, как расположение основных форм рельефа, были предметом спора и подвергались пересмотру и исправлениям [Гумбольдт 1915: 140]. На протяжении большей части XIX века царские чиновники могли с уверенностью говорить только о тех островках, где они обитали сами, посреди моря, о котором им почти ничего не было известно.

Прорабатывая источники, доступные образованному россиянину в первое столетие царского правления над степью, мы можем лучше понять, с какими трудностями могли столкнуться в своем понимании региона чиновники на местах или в петербургских канцеляриях. В мои задачи не входит исчерпывающий обзор мимолетных набросков, сделанных различными ранними экспедициями. Вместо этого я выбрал три библиографических источника, чтобы составить синтетический взгляд на степь на основе знаний, которыми реально располагали наблюдатели той эпохи. Два из этих источников дают представление о точке зрения управленцев, о взглядах, доступных пониманию гражданского и военного чиновничества царской России. Первый из них прилагается к сугубо военному тексту, составленному генерал-майором Генштаба Л. Ф. Костенко и озаглавленному «Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственности» [Костенко 1870]<sup>28</sup>. Второй источник – «Туркестанский сборник», 594-томное собрание опубликованных работ по Средней Азии, начатое по распоряжению К. П. фон Кауфмана, генерал-губернатора Туркестана с 1867 по 1882 год. Чтобы дать представление о научных взглядах, я ссылаюсь на изданный в 1891 году указатель к работам о казахах, составленный этнографом А. Н. Харузиным [Харузин 1891]. В совокупности эти библиографические ссылки дают представление о том объеме знаний, которые любопытный,

хорошо образованный и хорошо обеспеченный чиновник, ученый или любитель мог получить в XVIII и первой половине XIX веков. Возросший объем работ, цитируемых при-

<sup>27</sup> См., например, [Khalid 1998; Martin 2001; Sabol 2003; Sahadeo 2007a; Igmen 2012].

<sup>28</sup> В том, что касается биографических данных о Костенко и других военных, я основываюсь на [Басханов 2005].

мерно после 1840 года, знаменует новую эру в способе производства знаний в самодержавном государстве; в должное время мы рассмотрим этот вопрос. Работы, не вошедшие ни в один из этих библиографических списков, были фактически мертвы для российских читателей. Они не цитировались, не переиздавались, порой и вовсе не издавались; содержащиеся в них сведения и мнения едва ли были востребованы практикой управления (см. [Латур 2013: 79–80]).

В целом сочинения ученых и путешественников о степи обнаруживают поразительную смесь совпадений и несоответствий. Непротиворечивый и обоснованный нарратив об истории вхождения степи в состав Российской империи вступил бы в противоречие с меняющимися представлениями о качестве степных земель и характере жителей степи. Изменение представлений, в свою очередь, было обусловлено тем, что, с одной стороны, наблюдатели постепенно все больше приобщались к степной среде и образу жизни, а с другой – менялись взгляды на роль государства в этом отдаленном приграничье [Moon 2010:206–209]. К 1840-м годам общепринятым стало мнение, будто кочевничество примитивно, а с казахскими кочевниками самодержавному государству трудно иметь дело. Однако оставалось неясным, допускала ли степная среда обитания какой-либо иной образ жизни и, следовательно, были ли попытки что-то изменить в жизни казахов выполнимыми и желательными. Поколебать этот комплекс устойчивых и противоречивых идей возможно только путем дальнейшего изучения.

## Агенты, источники, сети: как познать окраину империи

Начало вхождения Казахской степи в состав Российской империи можно датировать первой половиной 1730-х годов. Осенью 1730 года правитель Младшего жуза Абулхайр-хан отправил в Россию посольство с просьбой принять его и его народ в подданные Российской империи, а в феврале следующего года императрица Анна Иоанновна выдвинула условия, на которых она их примет, что и случилось в 1734 году<sup>29</sup>. Через несколько лет за Младшим последовал Средний жуз, и большинство казахов северных степей официально оказались под номинальным царским правлением. Нельзя сказать, что до присоединения к России царские чиновники совсем ничего не знали об этих землях. Но установление постоянных отношений (и, следовательно, повышение доли в производстве знаний) в конечном итоге привело к значительному повышению качества и разнообразия доступных данных.

Тексты, написанные задолго до установления российского протектората над степью путешественниками раннего Нового времени в Среднюю и Южную Азию, такими как русский А. Никитин и британец Э. Дженкинсон, предоставляли лишь случайную и часто неточную информацию о землях и морях, через которые они туда попадали [Семенов 1980]. К началу XVII века поступающие по разным каналам сведения о степи были уже достаточными для того, чтобы включить их в «Книгу Большому чертежу» – подробный список «географических сведений, собранных на основе оригинального Большого чертежа [карты, созданной по приказу Ивана Грозного. – *Примеч. ред.*] и дополненных данными из писцовых книг» [Кивельсон 2012: 39] (см. также [Макшеев 1856: 2–5]). Также на знаменитой «этнографической карте» сибирского картографа С. У Ремезова были с поразительной точностью показаны границы «Земли Казачьи орды», «Бухаренского царства» и «Хивинского державства» [Кивельсон 2012: 246–248, вклейка 28]. Поддержание отношений с новыми имперскими подданными, строительство укреплений и налаживание торговли одновременно выявило недостатки этого сомнительного подхода и предоставило возможности для того, чтобы взять новый курс.

Созданная в 1734 году по проекту государственного деятеля и самоучки И. К. Кириллова (1695–1737) Оренбургская экспедиция должна была построить линию фортов на границе Российской империи с башкирами, другим тюркоязычным кочевым народом. Это обеспечило бы, помимо прочего, базу для управления казахами к югу от этой линии и для будущих инициатив в Средней Азии [Donnelly 1968: 64–81]. В этой политической миссии приняли участие также инженеры, геодезисты и другие ученые; это было необходимо, поскольку низовья Волги, где базировалась Оренбургская экспедиция, были регионом, малоизвестным Кириллову и его коллегам [Смирнов 1997: 24–25, 28]. Как ни странно, едва ли не самый большой вклад в понимание царским правительством истории и экологии степи внес П. И. Рычков, сын вологодского купца, не получивший систематического образования, изначально работавший в экспедиции бухгалтером<sup>30</sup>. «История Оренбургская» и «Топография Оренбургской губернии» Рычкова [Рычков 1887, 1896], наряду со служебными отчетами других местных чиновников, оставались ключевыми для понимания региона трудами в течение десятилетий после их публикации.

Безусловно, самой значительной попыткой собрать научную информацию о землях Российской империи в XVIII веке (включая земли, населенные казахами) была череда групповых экспедиций, которые проводились под эгидой Императорской Академии наук между 1768 и 1774 годами<sup>31</sup>. Эти экспедиции, организованные Екатериной II – поступок, подобающий

<sup>29</sup> Прощения о подчинении империи породили известный советский миф о «добровольном вхождении» этих земель в состав России; при этом мало внимания уделялось конфликтам, которые эти прошения немедленно вызывали, или сопротивлению, с которым впоследствии столкнулся царский режим (см., например, [Шоинбаев 1982]).

<sup>30</sup> О Рычкове см. [Новлянская 1959: 29; Vucinich 1963: 170–171].

<sup>31</sup> О возникновении «новой российской территориальности» [Sunderland 2007: 53], воплотившейся в этих экспедициях, а

просвещенному монарху, – и осуществленные под руководством немецкого зоолога на русской службе П. С. Палласа, собрали огромное, по любым меркам, количество первичных данных [Vucinich 1963: 150–151; Вернадский 1988: 215–216; Сытин 2004]<sup>32</sup>. Эти данные, однако, были в высшей степени эмпирическими, слабо систематизированными, многие из них были изданы ограниченным тиражом или вообще остались непереуверенными на русский, так что их полезность и интерес к ним в России не выходили за пределы узкого круга специалистов<sup>33</sup>. Объемистые труды Академических экспедиций – незаменимый ориентир для более поздних исследований и важнейший показатель понимания царизмом степного населения и природы, нуждались в преданном читателе и серьезной работе, чтобы представлять не только академический интерес.

Прочая общедоступная информация о Средней Азии и степи до 1840-х годов исходила преимущественно от офицеров и чиновников, служивших на границе или командированных за ее пределы для выполнения особых миссий. Эти авторы все чаще получали доступ к трудам предыдущих исследователей и реагировали на них, исправляя то, что считали ошибками интерпретации или искажением фактов, и добавляя собственные полезные данные. В первой половине XIX века в степи прошла серия геологических экспедиций, в том числе И. П. Шангина (1816 год) и К. А. Мейера (1826 год), а в 1829 году Российскую империю посетил прославленный А. фон Гумбольдт [Обручев 1933:22–30]<sup>34</sup>. Военные разных чинов, следуя воле своих монархов, пользовались назначениями с миссиями в среднеазиатские ханства, чтобы, как говорил один из них, во время своих путешествий «получить точные сведения о недостаточно известных странах»; впрочем, их произведения тоже зачастую оставались малоизвестными публике [Мейендорф 1975: 20]<sup>35</sup>. Стандартным справочником в течение многих лет после его публикации стал трехтомник «Описание киргиз-казацких, или киргиз-кайсацких, орд и степей» А. И. Левшина (1798–1879), уроженца южных русских степей: он был направлен в Оренбург, где по заданию Министерства иностранных дел вел этнографические наблюдения за казахами и обширные исследования в архиве Пограничной комиссии. Опубликованный в 1832 году труд Левшина [Левшин 1832], основанный также на двухгодичной работе в архивах и библиотеках Санкт-Петербурга, несомненно, отражал последние достижения науки того времени.

Таким образом, Казахская степь в первое столетие после присоединения к Российской империи стала объектом привычного процесса производства и воспроизводства знаний. Далее надлежит познакомить читателя с лакунами и противоречиями в этой совокупности знаний, в том числе с кочевым скотоводством и особенностями степной среды. Для местных и центральных чиновников такие лакуны были не менее важны, нежели знания, которыми они обладали.

---

также в работах таких региональных исследователей, как Рычков, см. [Sunderland 2007].

<sup>32</sup> О противоречиях между национализмом и научным космополитизмом в российской деятельности Палласа см. [Jones 2011].

<sup>33</sup> Говоря о систематизации, я исхожу из предложенного С. Ф. Кэннон понятия «гумбольдтовской», то есть сравнительной и теоретической, науки, которое развил М. Деттельбах [Dettelbach 1996]. Труды, например, шведского академика И. П. Фалька не были переведены на русский язык до 1824 года [Фальк 1824] (Фальк покончил жизнь самоубийством 50 годами ранее).

<sup>34</sup> Шангин также составил гербарий и собрал материалы по генеалогии казахских родов, хотя этот материал до сих пор не опубликован [Постников 2007: 160].

<sup>35</sup> Е. К. Мейендорф входил в состав посольства в Бухару под руководством А. Ф. Негри; сотрудники посольства составили две примечательные карты [Постников 2007: 161–168].

## Прошлое

Топоним, который я постоянно использую, – «Казахская степь» (в русских дореволюционных источниках обычно «киргизская степь» или «киргиз-кайсацкая степь», с разными вариантами написания) – был, по сути, политическим термином. Он не нес в себе конкретного географического смысла и обозначал всего лишь место за пределами царских укреплений и редутов, в основном населенное людьми, называвшими себя «казаками»; однако сторонние наблюдатели именовали их киргизами, чтобы не путать с царскими нерегулярными войсками, казаками, которые жили в этих укреплениях<sup>36</sup>. Таким образом, путешественники могли использовать российскую границу как ориентир, не только разделявший среды обитания, но и отделявший безопасность от опасности, цивилизацию от ее отсутствия [Рычков 1772: 43, 67, 87–88]. Но вопросы о том, каким образом эти люди появились в местах, которые они теперь населяли, и как возник их нынешней уклад, были предметом споров, аспектом степного прошлого, которое царским наблюдателям было трудно понять по причине скудости доступных письменных источников.

По сути, единственное, в чем были единодушны царские наблюдатели, – это то, что народ, с которым они теперь имели дело, разделен на три основные «орды»: Большую, Среднюю и Меньшую<sup>37</sup>. Хотя существовали смутные догадки о происхождении этого разделения, все сходилось на том, что убедительных свидетельств о том, как оно произошло на самом деле, нет (эта проблема ставит в тупик даже историков XXI века)<sup>38</sup>. Однако по вопросу о происхождении этого народа существовали разногласия, вызванные, помимо прочего, путаницей, возникшей из-за неправильного применения термина «киргиз» к нескольким разным общностям. Так, академик И. Георги в своем многоаспектном труде смешал современных казахов с древними енисейскими киргизами, предками нынешних хакасов, а по некоторым версиям – киргизов [Георги 1799: 119]<sup>39</sup>. Вряд ли это была его собственная идея. Скорее всего, Георги нашел и неверно истолковал положение более ранней работы Г. Ф. Миллера – руководителя «Академического отряда» Второй Камчатской экспедиции и, по утверждению историка Х. Вермейлена, основоположника этнографии<sup>40</sup>. Более поздние исследователи в свете приобретенного опыта ставили ему это на вид. По более вероятной версии, как утверждает Левшин на основании множества источников, в том числе тех, что он называл казахскими «преданиями», народ, называвший себя «казахами», на самом деле был смесью нескольких племен, пришедших на среднеазиатские просторы из разных мест и в разное время [Левшин 1832: 30]. Он отмечает, совершенно неверно, что народ под таким названием достаточно давно был известен азиатским историкам как одно из многочисленных племен, завоеванных Чингисханом; они стали независимыми после падения Золотой Орды и постоянно воевали как с другими кочевыми народами, так и с оседлыми группами, жившими южнее [Там же: 39–46]. Занимаемая ими территория росла или уменьшалась в зависимости от их военных успехов; Левшин отмечает, что в течение XVII и XVIII веков она постепенно расширялась [Там же: 55–57]. Степные казахи были кон-

<sup>36</sup> Многие наблюдатели отмечали, что сами казахи не признавали в применении к себе наименования «киргизы»; см., например, [Барданес 2007: 93].

<sup>37</sup> Соответствует Старшему, Среднему и Младшему жузам. – *Примеч. ред.*

<sup>38</sup> Одна из гипотез приводится у П. И. Рычкова в «Нижайшем представлении о состоянии киргиз-кайсацких орд и о способах к приведению их к спокойному пребыванию и ко исполнению подданических должностей» [Рычков 2007: 196]. О едином мнении см. [Георги 1799: 120].

<sup>39</sup> См. также [Бутанаев, Худяков 2000: 189–192].

<sup>40</sup> П. И. Рычков, например, приписывает эту характеристику киргизов Г. Ф. Мюллеру [Рычков 1887:93–95]. О Мюллере см. [Vermeulen 2015:131–218].

федерацией племен, которая со временем переросла в нечто большее и участвовала в евразийских политических играх раннего Нового времени более успешно, чем ее соседи.

Интерес к этой проблеме не был чисто историческим. Из вопроса о происхождении различных этнических групп, составлявших Российскую империю, вытекали дальнейшие вопросы, в частности о том, были ли «киргиз-казаки» родственниками «настоящих киргизов» или насколько тесно казахи были связаны с окружающими их различными группами «татарского» населения. В конечном итоге, хотя царские наблюдатели придерживались разных мнений о происхождении казахов, последние действительно, по всей видимости, отличались от окружающих их этнических групп, и это оказалось жизненно важным для подхода царского государства к управлению. Из-за представления о казахах как о рыхлой конфедерации, которая еще сравнительно недавно занимала «только середину нынешних земель своих» [Там же, 2: 55], их территориальные претензии на степь казались менее обоснованными.

Характерно, что история принимала тем более последовательный вид, чем больше российские авторы размышляли о действиях собственного правительства в степи. Очень быстро возник надежный и политически полезный официальный нарратив о политическом присоединении региона к Российской империи; со временем на него стали ссылаться и придавать ему конкретную форму и содержание<sup>41</sup>. На момент, когда Абулхайр-хан сделал первое предложение о принятии его и Младшего жуза в российское подданство, Российская империя была лишь одной из нескольких влиятельных внешних сил на политической арене степи и, возможно, даже не самым полезным из возможных союзников (в числе которых были и Империя Цин, и малые ханства Средней Азии). Различные орды казахов, разбросанные по большой территории, сталкивались также с разнообразными врагами. Казахские ханы и султаны относились к своим присягам на верность достаточно гибко, ища союзы, которые дадут максимальные преимущества при изменении обстоятельств (особенно искусен в этом был Аблай-хан из Среднего жуза) (см. [Там же, 2:223–231]). Для Аблая, который не считал себя подданным ни Российской империи, ни Империи Цин, но стремился к хорошим отношениям с обеими, такое поведение разумелось само собой<sup>42</sup>. Однако для чиновников с их собственными эпистемическими предубеждениями в отношении международной политики такие действия имели совершенно иное значение: предательство.

Описывая присоединение Младшего и Среднего жузов, Левшин, перечисляя многочисленные примеры дерзости Абулхайр-хана, негодует:

Сколь ни мало заключалось чистосердечия в изъявлениях киргиз-казачьими владельцами покорности России, сколь ни тщетны были их обещания выдавать пленных, защищать караваны и пр., но, по крайней мере, со времени принятия их в подданство до 1743 года ни они сами, ни подвластные их не осмеливались делать явных набегов на границы и крепости наши. В сем же году оказали они необыкновенные подвиги дерзости, и кто был главным виновником оных? Тот самый Абульхайр, который не переставал уверять правительство русское в своей верности и в исполнении всех обязанностей усердного подданного [Там же, 2: 157–158].

Внимательный наблюдатель Среднего жуза *И. Г. Андреев* (1744–1824) выдвинул аналогичные обвинения против Аблая и его преемников за их продолжающиеся отношения с Империей Цин, что, несомненно, пишет он, является следствием их «легкомыслия» и приверженности «ветренным древним закосненным, восточным обычаям» [Андреев 1998: 43]. Несмотря

<sup>41</sup> Ср. Morrison A. Writing the Russian Conquest of Central Asia (неопубликованная статья). Автор благодарен профессору Моррисону за предоставленную рукопись.

<sup>42</sup> О многочисленных недопониманиях между русскими и кочевыми народами, с которыми они контактировали в эпоху раннего Нового времени см. [Khodarkovsky 1992].

на постоянные щедроты царского двора, обеспечение жалования верным правителям и даже строительство укреплений по их просьбе, правители эти оставались ненадежными, а границы империи – безопасными лишь условно<sup>43</sup>. Целевые административные реформы также не сделали регион политически стабильным, а его жителей – более спокойными [Левшин 1832, 2: 291–298]. Один из путешественников утверждал, что только в «Средней орде» благодаря «лучшему управлению» имел место некий прогресс [Мейендорф 1975: 42–43]. Другие же две орды даже в 1820-е годы были по-прежнему «склонны к грабежам» [Там же].

Царские чиновники истолковывали недавнее прошлое, во-первых, не имея представления о степной политике, а во-вторых, исходя из неопределенности и опасности, с которыми многие из них, несомненно, сталкивались, будучи командированными в регион. В результате они пришли к логичному и многообещающему решению по поводу управления таким, как им казалось, своенравным народом<sup>44</sup>. Это решение заключалось в показательном насилии как инструменте устрашения, необходимом для умиротворения региона. П. И. Рычков, писавший на волне бурных событий начала 1770-х годов, таких как откочевка калмыков в Джунгарию, восстание Пугачева и, на фоне общего хаоса, учащение казахских набегов, отстаивал необходимость усиления приграничных гарнизонов [Bodger 1988: 13; Khodarkovsky 2002: 173–174; Avrich 1976: 195]<sup>45</sup>. Показательно то, каким языком он излагает свои доводы:

7-е. А дабы сии лехкомысленные и непостоянные народы от стороны российских границ и линей имели опасность и не отваживались бы так дерзко приближаться к крепостям и далее оных распространять свои набегии, как то в прошлом 1774 году (отменно от всех протчих годов было, хотя они толпами и не приобщались к известному возмутителю Пугачеву), для того необходимо нужно учредить и содержать во оных крепостях такую милицию, которая б соответственно была их легким и скорым набегам [Рычков 2007: 208–209].

Левшин по зрелом размышлении также рассматривал историю русского правления как диалектику кнута и пряника. Когда подарки и административная реформа, как и следовало ожидать, не помогли, «необходимость заставила, по-прежнему, прибегнуть к оружию, для наказания хищников, которые, не внимая никаким убеждениям, продолжали нападать на границу Оренбургскую» [Левшин 1832,2:275–276]. Убеждения Левшина в этом отношении были непоколебимы. Он заявлял, будто многовековой опыт и наблюдения доказали, что Россия может достичь своих целей в степи только путем изменения национального характера казахов (что маловероятно) либо путем их принудительного сдерживания [Левшин 2005: 164]<sup>46</sup>. Все остальное было бы полумерами, ненужным расходом средств на неблагодарных и откровенно опасных подданных. Такие взгляды, закрепленные в столь авторитетном тексте, делали невозможным более активный подход к управлению степью; реформаторы или «цивилизаторы» должны были бы привести веские доводы в оправдание своей позиции.

Многие утверждали, однако, что, несмотря на растрату ресурсов и частые фальстарты, Российская империя не ошиблась, приняв «добровольное подчинение» казахов Младшего и Среднего жузов. Неудивительно, впрочем, что люди, служившие в приграничных районах, со всей страстью отрицали, что они занимаются грандиозным сизифовым трудом. П. И. Рычков писал, что, с учетом недостойной истории казахов, совершавших набегии на русские поселе-

<sup>43</sup> О жалованье см. [Андреев 1998: 42–43], об укреплениях см. [Рычков 1887: 105–106]. Эта формулировка перекликается с аргументами Б. Гранта по поводу завоевания Кавказа [Grant 2009]. Это также оставалось стандартной версией событий более века после Абулхаира [Вельяминов-Зернов 1853].

<sup>44</sup> В дневнике миссии Кутлу-Мухаммеда-мурзы Тевкелева в Малую орду в начале 1730-х годов, например, содержатся многочисленные упоминания о чудесном спасении от насильственной смерти [Тевкелев 2005].

<sup>45</sup> П. Эврич утверждает, что некоторые казахи входили в «большую, хотя и разношерстную армию» Пугачева [Avrich 1976: 195].

<sup>46</sup> Схожую аргументацию см. в [Бланкеннагель 1858: 8–9].

ния, а также посягавших на собственность других народов, подчиненных Российской империи, удержание их в пределах укреплений и сохранение их в статусе подданных, пусть даже номинальных, – не самое меньшее зло. Напротив, теперь, когда влиятельные казахи подчинены империи, царские чиновники могут убеждать их освобождать пленных и выбирать другие места для набегов [Рычков 1887: 112–113]. Несколькими годами позже Левшин, напрямую обращаясь к аудитории, которая, возможно, сомневалась в необходимости контроля над степью, и проявляя удивительное небрежение вопросами безопасности, пишет: «Сколь ни часты нападения, беспокойства и грабежи, производимые Киргизами в пределах смежных с ними владений, но торговля заменяет все потери, и делает соседство их очень выгодным, особенно для Китая и еще более для России» [Левшин 1832, 3: 215]. По сути, казахи были основными производителями продуктов животноводства, которые они обменивали в российских фортах на зерно и вещи, то есть вели торговлю, приносящую значительную прибыль как купцам (в первую очередь не особо разборчивым), так и имперской казне<sup>47</sup>. И степь, и сулившие немалый доход среднеазиатские ханства, куда путешествовали купцы, были полны опасностей, преодолеть и справиться с которыми могли помочь казахские проводники, если только хватало сил удерживать их в узде [Кайдалов 1827]<sup>48</sup>. Кроме того, если бы удалось умиротворить степь, торговые караваны могли бы двигаться через нее в Среднюю Азию в еще большем количестве [Броневский 1830: 235–236; Levi 2002: 233–241]. В общем и целом, хотя в первое столетие после подчинения царское государство много дало Казахской степи и ее лидерам, а взамен получало только вероломное предательство, его усилия были компенсированы иным образом. Отношения стоили того, чтобы их продолжать.

Такой упор на безопасность и торговлю вполне соответствовал скромным ожиданиям «фронтального государства», хотя позже эти ожидания сильно возрастут. В течение всей первой половины XIX века то, как известные авторы понимали прошлое степи при царском управлении, вполне согласовывалось с тем, как многие чиновники понимали ее будущее. Это также отвечало образу земли и людей, которых видели перед собой царские наблюдатели: засушливый и суровый ландшафт, населенный практически исключительно кочевниками-скотоводами. Однако в долгосрочной перспективе более глубокое освоение региона потребует новых мер, в том числе обустройства земледельческих поселений. Представления о потенциале степной среды были жизненно важны для обсуждения возможностей и пределов этих новых начинаний. Даже когда ученые, путешественники и чиновники просто собирали данные о природном мире, испытывая мало интереса к поселениям, они внесли этим серьезный вклад в решение вопроса о месте этого региона в империи.

---

<sup>47</sup> П. С. Паллас, в частности, отмечал, что так как казахи не очень искусны в торговле и берут при обмене много плохих товаров и всяких безделиц, русские купцы получают от них большую прибыль [Паллас 1773, 1: 352]. О доходах казны см. [Левшин 2005: 148–149, 157–158]. Рычков утверждает, что к 1754 году в Оренбурге ежегодно собирали более 50 тысяч рублей таможенных пошлин [Рычков 1887: 227].

<sup>48</sup> «Записки» Е. Кайдалова – драматичное повествование о нападении хивинских войск на караван. О роли казахских помощников в караване см. [Кайдалов 1827: 45, 115–116]. Об опасениях царских купцов перед путешествиями в степь см. [Там же: 10] и [Руссов 1840: 59a].

## Настоящее: земля

Будучи в первую очередь политическим термином, название «Казахская степь» несло в себе и некоторые географические и этнографические коннотации. О существовании такой природной зоны, как степь, было хорошо известно, пусть чисто теоретически, даже царским наблюдателям из европейской части России, привыкшим к городской жизни и лесистому ландшафту. Как-никак, задолго до того, как Абулхаир надумал стать подданным царя, в Российской империи имелись плоские, безлесные, полузасушливые равнины в низовьях Дона и Волги, а также в Причерноморье, на территории современной Украины [Sunderland 2004; Moon 2013]. Некоторые земли «Казахской степи» мало от них отличались; это отмечал, в частности, врач Х. Барданес, прикомандированный к научной экспедиции И. П. Фалька [Барданес 1825: 46–47]. Но были там и земли, непостижимые для любого неподготовленного наблюдателя. Для самих казахов степь была также чем-то переменчивым, пространством, определяемым поведением человека. По словам Барданеса, за *действительные* границы «сего народа» можно принять те, «за которые они далее не кочуют или не могут кочевать» [Барданес 2007:95]. Эти обширные земли включали пустыни, луга и оазисы, казалось бы, благоприятные для оседлого образа жизни. Царские наблюдатели были вынуждены разбираться в этом разнообразии ландшафтов.

По крайней мере, на русской стороне Казахской степи было довольно легко определить, где кончается степь и где начинаются русские владения. Эти границы, помимо крепостей, были очерчены двумя крупными водными путями: с запада рекой Урал (Яик), текущей на юг к Каспийскому морю, а с востока Иртышом, текущим на север к Оби, а оттуда к Северному Ледовитому океану<sup>49</sup>. Также, согласно имагинативной географии царских времен, было достаточно ясно, что Казахская степь, лежащая в основном к востоку от Уральских гор, относится к Азии, а не Европе<sup>50</sup>. Поскольку царским наблюдателям границы между «азиатскими» народами казались размытыми, да и находились они далеко от российских владений, установить аналогичную границу на юге, где казахские орды сталкивались с туркестанскими ханствами, было трудно. П. И. Рычков предлагал провести южную границу Оренбургской области по реке Сары-Су (в переводе «желтая вода»), берущей исток на территории современного Центрального Казахстана; Левшин же отмечал, что казахи не откочевывали южнее 42-й параллели [Рычков 1887: 7; Левшин 1832, 1: 3]. Приблизительной западной границей служило Каспийское море, тогда как линия укреплений Империи Цин на территории современной провинции Синьцзян, простиравшаяся на север до границы с Россией, очерчивала более точную линию на востоке [Левшин 1832, 1: 4]. Даже Левшин, располагавший самыми полными на тот момент данными, не брался оценивать масштабы огромной территории внутри этих границ [Там же: 2]. Однако, чтобы дать представление о расстояниях и масштабах, в 1841 году ученый и дипломат Н. В. Ханьков подсчитал, что площадь, занимаемая только Младшим жузом и Букеевской ордой, составляет 900 тыс. квадратных верст [Ханьков 1844: 26], что значительно превышает площадь штата Техас<sup>51</sup>. Придумать какую-то схему, хотя бы приближенную, чтобы разобраться в столь обширном и разнообразном регионе, было необходимо как деловым чиновникам, так и ученым, которые уже начинали мыслить более систематически.

Результатом попыток систематического мышления стала разработка очень подробных классификационных схем. Дипломат Я. П. Гавердовский (ок. 1770–1812) в той части своего обширного рукописного наследия, которая была опубликована в XIX веке, выделил в степи

<sup>49</sup> Об Урале/Яике см. [Фальк 1824: 218], об Иртыше – [Барданес 2007: 95–96].

<sup>50</sup> Это искусственное разделение Евразии подверглось самой детальной критике М. Льюисом и К. Вайген [Lewis, Wigen 1997: 27–28].

<sup>51</sup> Эта работа, содержащая в себе попытку применить теории народонаселения Т. Мальтуса, А. Кетле и других к «диким племенам», осталась незавершенной. Основной источник сведений о деятельности Ханькова [Халфин, Рассадина 1977].

четыре отдельные зоны (полосы) на основе почвенного состава, высоты над уровнем моря, растительного покрова и климатических условий [Гавердовский 1823:43–44]<sup>52</sup>. Не желая отставать, Левшин выделил не менее семи климатических зон [Левшин 1832,1:14–15]. На практике, однако, большинство наблюдателей выделяло в степи две основные разновидности (оазисы Семиречья в то время находились вне контроля империи и, следовательно, выпали из поля зрения государства). Это было простое осевое деление: север-юг и восток-запад. С точки зрения почв, флоры и гидрологии эти линии отделяли районы, понятные и удобные для обитающих в лесах земледельцев, от мира кочевников.

Линия, которую Левшин провел около 51-й параллели, отделяла ту часть Казахской степи, которую он посчитал наиболее плодородной и наименее песчанистой, от менее перспективных районов к югу; вторая область с ограниченным плодородием простиралась примерно до 48-й параллели [Там же: 14–15]. Подавляющее большинство царских наблюдателей, хотя и с меньшей точностью, проводило такое же разграничение между плодородной северной зоной с ее буйной растительностью и «бесплодным» югом (см. [Андреев 1998: 48; Назаров 1821: 4; Ханьков 1844: 13–15])<sup>53</sup>. Почва выше этой линии – ценный чернозем, высокое содержание гумуса в котором обещало плодородие и годы хороших урожаев [Рычков 1772: 78–79; Шангин 1820:6–7; Ягмин 1845: 18–19]. Далее к югу почва становилась беднее, богатый гумус сменялся песчаными, каменистыми почвами или солончаками [Гавердовский 1823:36–37; Ханьков 1844:15]. Эти характеристики почвы оказали очевидное влияние на флору обоих регионов. На севере царских наблюдателей радовала возможность ввести формы земледелия, аналогичные практикуемым в европейской части России [Левшин 1832, 1: 39–40]<sup>54</sup>. Юг, напротив, был богат в лучшем случае зарослями тростника и трав, возможно, полезными для казахов, но однообразными и скудными на посторонний взгляд<sup>55</sup>. Менее объяснимой была предполагаемая разница между западом и востоком, регионами, полностью подчиненными соответственно генерал-губернаторствам Оренбурга и Западной Сибири, которые я буду называть «оренбургскими» и «сибирскими» казахскими степями. Восточно-Казахская степь с достаточно плодородными почвами могла похвастаться обширными территориями, покрытыми лесом, и лишь ближе к своей восточной оконечности становилась каменистой и голой [Броневский 1830: 237–238]. В западной части, напротив, лесов было, по замечанию П. И. Рычкова, «весьма недостаточно» [Рычков 2007: 230]. Мне не удалось найти попыток объяснить такое различие, но отсутствие деревьев даже в лучших частях Оренбургской степи представлялось проблемой, требовавшей решения, и серьезным фактором, ограничивавшим тогдашние и будущие перспективы использования степи.

<sup>52</sup> Биографические сведения о Гавердовском см. в [Ерофеева 2007, 5: 5-14, 59; Левшин 1832, 1: 14–36].

<sup>53</sup> Барданес часто использовал слово «неплодный» [Барданес 1825: 14, 19, 21].

<sup>54</sup> Левшин перечисляет несколько речных бассейнов в северной части степи как «удобные для хлебопашества».

<sup>55</sup> Барданес отмечал потенциальную полезность степи для казахов [Барданес 2007:119,135], но имел смутное понятие о регионе в целом [Барданес 1825:4], в частности, описывал, как 11 мая он ехал по открытой, в основном глинистой степи, заросшей невысоким тростником и покрытой небольшими скудными участками засоленной почвы и солончаковыми растениями.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.